
Александр ОБОЛОНСКИЙ

Перекрестки российской истории: упущенные шансы

Думается, киплинговская формула «Запад есть Запад — Восток есть Восток» не случайно вошла в анналы. За ней стоят видимые невооруженным глазом социокультурные и исторические реальности, одни из которых действительно тяготеют к Европе, а другие — к, условно говоря, «азиатскому» миру. Однако абсолютизация формулы мало что объясняет, а порой вносит путаницу. Например, Испания XVI в. гораздо меньше похожа на «Запад», чем восточноевропейская Польша того же времени. На Востоке же мы сегодня видим общества, по многим параметрам весьма близкие к западным образцам. Да и христианство, между прочим, зародилось не на Западе, а на Востоке. Эту двойственность прекрасно передает волошинский вопрос: «Каким ты хочешь быть Востоком — Востоком Ксеркса или Христа»? Так что простой географией здесь не обойтись.

Мне представляется, что исходным глубинным различием между тем, что называют «Западом» и «Востоком», является базисная ориентация принципов социального устройства либо на индивида, либо на некое общественное целое, на Систему. Главный водораздел проходит по тому, что считается первоосновой — личность или социальное целое (будь то племя, община, империя...). Соответственно, и назвать эти два базисных типа можно «персоноцентризмом» и «системоцентризмом».

В персоноцентристской шкале главное — индивид, человек как «мера всех вещей» (Протагор); все рассматривается через призму человеческой личности. При этом не следует упрощать проблему и отождествлять данный подход с гуманизмом, хотя корреляция тут, конечно, есть. Далеко не всегда персоноцентризм был гуманным. С личностью сплошь и рядом боролись, ее истязали, уничтожали, но парадоксальным образом это доказывало, что ее *принимают в расчет*.

В системоцентристской же шкале ценностей индивидуальный человек *либо вообще отсутствует, либо воспринимается как орудие или строительный материал для достижения каких-либо надъиндивидуальных — «системных» — целей*, среди которых всегда были стабильность, неизменность социального порядка, словом, самоконсервация, а также, по возможности, экспансия, расширение зоны влияния.

Персоноцентризм и системоцентризм — это два различных, несовместимых видения мира;;. Поэтому перманентный конфликт между ними неизбежен.

Системоцентризм был исторически первым и долгое время единственным типом массового, сознания. Первую вспышку персоноцентризма как общественного мировоззрения мы видим в эллинском мире: сквозь тени 100 поколений доносится к нам оттуда сигнал, излучаемый самосознанием впервые ощутившего собственное достоинство и собственную ценность Человека. С началом христианской эры его огонек — то чуть заметный, то более яркий — уже не угасал. Вся последующая история во многом представляется мне борьбой этих двух типов соци-

Оболонский А. В.— доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник Центра политологических исследований при Институте государства и права РАН. Специалист по проблемам политологии, государственного управления, массового сознания.

ального устройства. Более или менее прочные позиции персонцентризм завоевал в некоторых европейских странах (прежде всего в Англии, Голландии, отчасти в Германии) в XVI—XVII веках. С этих плацдармов он пульсирующими толчками, с откатами и приливами постепенно расширяет свое влияние, формируя тот социокультурный феномен, который мы и называем «Западом».

Итак, с некоторым упрощением можно сказать, что существуют два возможных пути развития цивилизации: системцентристский и персонцентристский. Причем второй путь — не продолжение первого, а *другая, идущая в том же направлении дорога*. Они то идут параллельно, то сближаются, то расходятся. Между ними периодически есть соединительные дорожки. Когда какое-либо общество в движении по своей дороге оказывается у такого «исторического перекрестка», оно может перебраться на другую трассу или, во всяком случае, попытаться это сделать. Результат зависит от конкретных исторических обстоятельств и готовности общества сменить трассу.

До XVI в. практически все общества двигались по одной — системцентристской — дороге. Лишь немногие (эллины, альбигойцы, некоторые итальянские республики) совершали кратковременные вылазки на другую трассу, но либо гибли, либо возвращались в накатанную системцентристскую колею, хотя предпосылки для таких переходов зрели во многих европейских странах. Очевидно, поэтому в XVII—XIX вв. большинству европейских обществ удалось (и, кажется, бесповоротно) перебраться на персонцентристский путь. Впрочем, кто может дать гарантии? Ведь уже в XX в. мы были свидетелями трагических по последствиям временных возвращений на системцентристскую дорогу (вспомним хотя бы Германию).

В контексте предложенной модели представляется, что Россия до сих пор так и не смогла поменять трассу своего движения в историческом времени-пространстве, хотя несколько раз, начиная со Смутного времени, подобные попытки предпринимались. Серьезные предпосылки для более или менее подготовленного, органического перехода на другую историческую колею сложились в российском обществе в XIX в., когда монопольное господство системцентристской социальной этики было нарушено. И как заметная социальная величина сформировалась персонцентристская контркультура. Именно тогда она заявила о себе как альтернатива извечному российскому системцентристскому «людодерству». Не будем пока касаться политических перипетий. Важно, что с этого времени в России появилась «новая порода людей» (об этом процессе замечательно писал и говорил Н. Эйдельман). И весь XIX в. прошел под знаком ее укрепления и развития. К началу XX в. персонцентризм стал в русском обществе настолько значительной силой, что даже без политических подталкиваний начала крениться и покрываться трещинами пирамида российского системцентризма.

Однако здесь роковую роль сыграло то, что в России развивался персонцентризм главным образом не «вширь», а «вглубь», т. е. в пределах одного социального слоя — интеллигенции, причем лишь одной ее части. В политическом словаре для нее есть название — «либеральная интеллигенция». Сверхконцентрация персонцентризма на столь узком социальном пространстве породила уникальное в мировой истории явление — *российскую гуманистическую интеллигенцию*. Но в историческом плане такая сверхконцентрация привела к национальной трагедии. Узость социального основания персонцентризма предопределила его поражение.

Другая же часть интеллигентов исповедовала принципы политического радикализма. Радикалы по своей сути оставались системцентристами, но нового образца. Они мыслили и действовали (к несчастью для общества — очень активно и успешно) в рамках все той же старой антиличностной шкалы ценностей, только перевернутой согласно принципу «кто был ничем — тот станет всем». Системцентризм продемонстрировал феноменальную живучесть и изворотливость, совершив головокружительный маневр. Он полностью сменил свой внешний облик и одежды, поступился многими традиционными символами и атрибутами (династия, православие), даже принес в жертву интересы привилегированной части общества (дворянства, предпринимателей, той же интеллигенции). Этой ценой он сумел в очередной раз раздавить свою историческую альтернативу, надолго заблокировать возможность перехода общества на персонцентристскую трассу и в новых формах утвердить свое господство. Традиционная российская общественная пирамида не изменилась. Ее лишь опрокинули набок. Темная стихия глубинного национального системцентризма, «донный ил» захлестнула и родственную

ему системоцентристскую же структуру самодержавной власти, и сконцентрированных лишь в одном слое носителей персоноцентристского сознания.

Смысл произошедшего в 1917 г. переворота в то время поняли очень немногие. К их числу относились «веховцы» — Бердяев, Новгородцев, Струве, Франк. Но для большинства калейдоскоп внешних перемен создал иллюзию кардинальных изменений, впечатление возникновения чего-то небывалого, дезориентировав даже весьма проницательных наблюдателей и участников событий, причем по «обе стороны баррикад». Да что говорить о тех временах, если и сейчас миф о советском обществе как об «обществе нового типа» живет в умах как его сторонников, так и противников. И на политической поверхности явлений так оно и есть. Но на уровне динамики фундаментальных социально-этических типов картина выглядит иначе: системоцентризм, сменив идеологические и политические вывески на фасаде и разделавшись с персоноцентристской оппозицией, утвердил свое господство еще на несколько поколений. Победила задрапированная в радикальные одежды антиреформаторская линия.

Сегодня мы оказались на новом перекрестке истории, появился очередной шанс перейти на персоноцентристскую трассу развития. И в этой ситуации представляется важным анализ негативного опыта прошлых, неудачных попыток перехода. В данной статье я ограничусь «верхним течением» отечественной новой истории. А «завязь» всего последующего развития страны образовалась уже в XVII в., где обнаруживаются поразительные, порой пугающие аналогии и с XX в. в целом, и даже с сегодняшним днем.

Смутное время и XVII век

«Чувствуешь, что чем дальше, тем большеходишь в область автобиографии, подступаешь к изучению самого себя», — писал Василий Осипович Ключевский, приступая к описанию этого периода нашей истории¹. Вступала страна в него с багажом безрадостным. На всех этажах общества монопольно господствовал системоцентризм. Не было даже зачатков представления о правах и свободах личности, т. е. идей, которые к тому времени обсуждались в Европе уже не одно столетие. Государство считалось царевой вотчиной, а все «людишки» — лишь холопами разных степеней. Кстати, так они себя подчеркнуто самоуничижительно и называли. Личная свобода не ценилась настолько, что люди добровольно, «за похлебку» или долги, продавали самих себя или собственных детей в холопы. Единственный, кто мог выступить с социальной критикой, был юродивый. Как бы заранее отрекаясь от всех мирских благ, он тем самым получал свободу «резать правду-матку» даже в глаза царю. Сам Иван Грозный был вынужден терпеть «насмешливые и бранливые речи блаженного уличного бродяги», не смея дотронуться до него пальцем. С тех пор (а не с Чаадаева) и повелось на Руси, что человек, называющий общественные пороки их настоящим именем, признавался не иначе как умалишенным. Для всех прочих оставались либо полное покорство власти, либо самоизоляция в монастыре, либо эмиграция.

Московский народ выработал особую форму политического протеста: люди, которые не могли ужиться с существующим порядком, не восставали против него, а выходили из него, брели розно», бежали из государства»². (Больно наблюдать сегодня вспышку этого синдрома «слуги» или «постояльца», бегущего от плохого хозяина, в форме панической массовой эмиграции.)

На этом унылом фоне случилось чрезвычайное событие: угасла династия Рюриковичей. Как известно, междоусобица (а тем более конец династии) всегда предоставляло народам возможность для, как бы мы теперь сказали, «конституционного выбора». И наступило Смутное время, когда стечение исторических обстоятельств впервые посеяло в национальном сознании сомнение в непогрешимости основных стереотипов бытия, обеспечивающих устойчивость общественно-политического устройства, впервые поставило народ перед возможностью выбора дальнейшего пути. «Смутное время впервые и больно ударило по сонным русским умам, заставило способных мыслить людей раскрыть глаза на окружающее, взглянуть прямым и ясным взглядом на свою жизнь»³.

¹ К л ю ч е в с к и й В. О. Курс русской истории. Т. 3 М., 1956—1960, с. 6.

² Там же, с. 52.

³ Там же, с. 359.

И тут выяснились странные вещи. Во-первых, народ обнаружил, что ни государь, ни государство не могут без него обойтись, тогда как сам он, во всяком случае некоторое время, вполне может существовать и без них. Во-вторых, оказалось, что государство — отнюдь не царская вотчина, населенная случайными и бесправными пришельцами, скорее, сами цари могут оказаться случайными и бессильными фигурами. В-третьих, выявилось совсем невероятное — холопы обладают политической волей, которая при определенных обстоятельствах сама может стать источником власти божьего помазанника. Вот такая пугающая, но заманчивая бездна открылась вдруг перед плоскостным системоцентристским сознанием.

И властители, чередой сменявшие в те годы друг друга, почувствовали изменение ситуации. В 1606 г. верховная власть впервые в русской истории совершила акт самоотречения. Боярин Василий Шуйский, восходя на престол, в так называемой «подкрестной записи» принял на себя обязательства, дававшие подданным определенные гарантии от царского произвола. По свидетельству летописца, Шуйский сразу после своего провозглашения царем отправился и Успенский собор и произнес речь. И сам факт, и содержание речи оказались окружающим революционной выходкой: «Целую крест всей земле на том, что мне ни над кем ничего не делати без собору, никакого дурна».

Тем самым царь отказывался от важнейших традиционных прерогатив неограниченной автократической власти — налагать «опалу без вины», конфисковывать родовое имущество осужденного, словом, самолично распоряжаться «животом и смертью» подданных. Если сравнить сказанное со словами умершего лишь за 22 года до этого Ивана Грозного: «Жаловать своих холопей вольны мы и казнить их вольны же», то не удивительна реакция окружения на поступок нового царя. К тому же Шуйский, вопреки сопротивлению бояр, своим крестным целованием делегировал часть своей власти не Боярской думе, а Собору — земскому (по-нашему — представительному) учреждению. Это был небывалый акт в московском государственном праве. Конечно, не следует переоценивать личность самого Шуйского. Интриган до мозга костей, человек, отплативший заговором помиловавшему его Лжедмитрию, он, разумеется, руководствовался чисто политиканскими соображениями: ему нужно было хотя бы частично освободиться от контроля посадивших его на царство бояр, заявив о себе не как о царе боярском, а как о царе земском. Но в данном случае его мотивы не слишком важны. И хотя провозглашенный им первый на Руси прообраз конституционного закона затерялся в буре последующих событий, умы современников должен был потрясти сам факт его появления.

А еще четыре года спустя, в самый разгар смуты, появился на свет первый настоящий по своему содержанию конституционный акт. В силу специфики ситуации он имел форму договора между посольством боярина М. Салтыкова и польским королем Сигизмундом III об условиях принятия на московский престол королевича Владислава. Но важна не юридическая форма, а содержание документа. По содержанию же договор представлял план государственного устройства, где были сформулированы порядок высшего управления, права и ограничения сословий, личные права подданных. Даже одной идеи о том, что подданные московского царя могут иметь какие-то личные права, было бы достаточно, чтобы придать документу эпохальное значение. Однако поразителен и сам перечень прав. Особое внимание обратим на два из них: «Больших чинов без вины не понижать, а малочиновных возвышать по заслугам; каждому из народа московского для науки вольно ездить в другие государства христианские, и государь за то имущества отнимать не будет». Правда, в окончательном тексте договора, на условиях которого 17 августа 1610 г. Москва присягнула Владиславу, боярство исключило эти наиболее «крамольные», революционные по отношению к московским традициям статьи. Была вычеркнута подводящая мину под весь политический уклад статья о возвышении людей не по породе, а по заслугам. Исчезла и статья о «праве выезда» по научной надобности. Как видно, и в те времена московские государственные мужи считали «поправку Джексона» смертельно опасной для своего благоденствия.

Но самым революционным событием Смутного времени было, конечно, появление на московском престоле персонифицированного воплощения иного культурного генотипа — Лжедмитрия I. Богато одаренный, образованный, демократичный, храбрый, красноречивый — «на престоле московских государей он был небывалым явлением... он совершенно изменил чопорный порядок жизни старых московских государей и их тяжелое, угнетательное отношение к людям... со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски. Он тотчас показал себя деятельным управителем, чуждался жестокости, сам вникал во все, каждый день бывал в Бояр-

ской думе, сам обучал ратных людей. Своим образом действий он приобрел широкую и сильную привязанность в народе... По временам он ставил на вид своим советникам в думе, что они ничего не видали, ничему не учились, что им надо ездить за границу для образования, но это он делал вежливо и безобидно». За год своего правления он успел приподнять с колен ископн века униженных русских людей и сформулировать гибкую внешнюю политику, в рамках которой Россия, получая разностороннюю помощь Запада, не только не попадала бы от него в зависимость, а вошла бы в семью европейских народов в почетной роли лидера борьбы с азиатской (турецкой и татарской) угрозой. Его государственным идеалом была созданная на добровольных началах конституционная славянская империя.

Не худо для начала XVII в., правда? Таким образом, Москве впервые посчастливилось за-получить на престол государя, сознающего свою ответственность перед страной. Кстати, наряду с В. Ключевским и С. Салтыков, и Н. Костомаров отмечали у Лжедмитрия I качества весьма незаурядного политического деятеля. Однако нам со школьной скамьи внушалась лишь порожденная официальной историографией дома Романовых «оперно-патриотическая» версия событий. У царской и большевистской исторических мифологий оказался один и тот же «образ врага» в лице человека, впервые пытавшегося повернуть страну на другой путь. Это естественно: для любого из вариантов системцентристского мировоззрения подобные фигуры олицетворяют вызов и угрозу.

В те же далекие времена попытка Лжедмитрия I и вовсе была обречена. Ценности, которые несло его правление, оказались абсолютно чуждыми тогдашнему российскому сознанию, хотя оно и восприняло его как «добраго царя». Политическая программа Лжедмитрия I была чужеродной для сознания как боярской элиты, так и других слоев общества. Обреченность той попытки пересадить на нашу почву персонцентристский образец усугублялась и тем, что его носители пришли к нам с оружием в руках, да и не давали себе труда скрывать свое презрение к русскому «быдлу». И царь пал жертвой дворцового заговора, а образец погиб, не успев прижиться, не вынеся соприкосновения с жестоким московским политическим климатом.

Во время смуты русские люди получили возможность почувствовать себя гражданами и соответственно действовать. Но возможность не была использована, так как ни одна из составлявших тогдашнее общество социальных групп не поднялась до уровня, на котором человек начинает сознавать себя гражданином, т. е. лицом с чувством социальной ответственности. (Увы, это относилось и к русской «аристократии» — боярству, которое в отличие, скажем, от аристократии английской видело в привилегиях лишь место у кормушки, а не знак долга, ответственности перед обществом. Тем самым боярство постоянно демонстрировало свою полную непригодность к роли носителя оппозиционной прогрессивной контркультуры, которую ему прочит А. Янов.) Члены всех сословий были ориентированы только на то, чтобы «урвать» что-либо для себя лично за чужой счет, а смуту рассматривали лишь как удобный случай «половить рыбку в мутной воде». Обнаружилось также, что при ослаблении сдерживающей узды государственной власти в русском сознании *перестают действовать какие-либо моральные ограничители*. Дозволенным становится все практически достижимое. Тем и страшен «бесмысленный и беспощадный» русский бунт.

Общество отшатнулось от возможности перестроить жизнь на иных началах. Холопы боялись остаться без хозяина. Страна предпочла «программу» краткого разгула вседозволенности и грабежа, а потом возвращения к старине, к прежнему «безумному молчанию всего мира», под ярмо новой авторитарной власти, на сей раз — династии Романовых, призванных на царство, разумеется, «единодушно». Так был упущен первый в русской истории шанс перехода на новую колею.

Но все же годы смуты не ушли бесследно в песок времени. Обитатели московского государства познакомились с прибывшими в польской упаковке образцами иного культурного «генотипа». Их нельзя, конечно, считать настоящим персонцентризмом, но рядом его черт они уже обладали. И хотя москвитяне тогда отвергли их, но представление о них сохранилось. А значит, сохранилась и возможность для сравнения. Оно во всех отношениях — экономическом, военном, технологическом, культурном, не говоря уже о «правах человека» — было явно не в пользу Московии: после 100 лет колоссальных жертв и перенапряжения народных сил страна к началу XVII в. оказалась более отсталой от Европы, чем за век до этого. Под давле-

⁴ Там же, с. 33—34.

нием обстоятельств программа перемен начала складываться в сознании политически мыслящей части общества.

Носителем реформенных ориентаций стала часть окружения царя Алексея Михайловича — Б. Морозов, Ф. Ртищев, А. Ордин-Нащокин, а также их духовный наследник князь В. Голицын, бывший ближайшим сотрудником царевны Софьи и автором namного опередивших время реформаторских идей. При всех различиях эти люди обладали рядом общих черт: гуманным отношением к управляемым, резкой критичностью к отечественным порядкам, западническими (в частности пропольскими) ориентациями в политике и культуре, твердой установкой на пользу образования (что в те времена в России было совсем не частым явлением), стремлением к рационализации управления, в частности уменьшением его зависимости от личных интересов отдельных влиятельных персон. При этом их выраженная устремленность к западным образцам отнюдь не имела вида эпитонства, а основывалась на стремлении к «творческому усвоению иностранного опыта», на поиске возможности соединения общеевропейской культуры с русской национальной самобытностью. И они сделали для России немало. Однако всерьез расшатать господствующий культурный тип они не смогли. Системонцентристское болото быстро затягивало следы шагов преобразователей.

Отчасти это объясняется тем, что арбитром в спорах между сторонниками модернизации и консерваторами долгое время выступал царь Алексей Михайлович. «Тишайший» отнюдь не чуждался новых веяний и поддерживал их выразителей, но лишь до тех пор, пока не встречал энергичного возражения со стороны ревнителей старины. Тогда вступал в силу его добродушно-нерешительный характер, склонность к компромиссам, и в результате либо принималось половинчатое решение, либо все оставлялось по-старому. Реакции царя часто были непоследовательными: он и хотел перемен, и боялся их.

Тогда впервые обнаружилась одна примечательная особенность русской модернизации, неоднократно проявлявшаяся затем в более поздние периоды и сохранившаяся в несколько измененной форме вплоть до самого последнего времени. Речь идет о стремлении власти, инстинктивно чувствующей смертельную для себя угрозу в бесконтрольном распространении среди русского общества западных образцов мышления и поведения, во-первых, ограничить этот процесс только теми сферами, где он «работает» на цели государственной политики (например, повышает боеспособность армии) и, во-вторых, сбалансировать его «укреплением морально-политического единства». В качестве баланса проникновению «западной технологии» постоянно подчеркивались идеологическая «особость» русских, их владение «единственно верным» мировоззрением. В дальнейшем этот подход стал обычным в отношениях России с Западом: плоды вашей культуры возьмем, но распространения духа, породившего эти плоды, не допустим.

Но даже такой курс на избирательную модернизацию встречал фанатичный отпор консервативной оппозиции. Ее идейный отец — протопоп Аввакум — обладал незаурядными личными качествами, был решителен и бескомпромиссен. Отчасти поэтому движение за сохранение чистоты веры отцов почти с самого начала приобрело черты «священной войны с ревизионистами». Правительство восприняло ситуацию по-своему: как неповиновение официальному авторитету. И соответственно отреагировало. Однако, если оставить в стороне религиозную борьбу, то все эти прения и противоборства мало затрагивали глубины народного сознания, не оказывали существенного влияния на моральные и социально-психологические стереотипы. Сколько-нибудь серьезные изменения касались лишь тончайшей поверхностной пленки.

И все же в XVII в. в русском обществе впервые наметилась потенциальная возможность его разделения по признаку различия культурных стереотипов. «Западное влияние разрушило нравственную цельность древнерусского общества... Как трескается стекло, неравномерно нагреваемое в разных своих частях, так и русское общество, неодинаково проникаясь западным влиянием во всех своих слоях, расколосось»⁵. Между прочим правительство своей крайней нерешительностью и страхом перед возможностью всесторонних перемен само немало способствовало расколу общества.

Забежав на момент вперед, отметим, что уже с начала XVIII в. развивается практически неограниченный импорт западных технологических и культурных образцов, а о подготовке почвы для их правильного усвоения ни до того, ни тогда, ни после того никто всерьез не забо-

⁵ Там же, с. 361—362.

тился. Без разбора глотая плоды знания, мы практически ничего не делали для того, чтобы приобщить народ к самому знанию, т. е. заняться его образованием.

Парадоксально, но программа преобразований сложилась и даже начала проводиться в жизнь в те два десятилетия, которые прошли между смертью «тишайшего» и приходом Петра I к единоличной власти. С нелегкой руки официальной советской истории, и в этом унаследовавшей мифологию придворной романовской историографии, это время считается периодом господства консерваторов. На деле же именно тогда была сформирована концепция всесторонних реформ, далеко превосходивших петровскую «перестройку». Наряду с военными, фискальными и политическими мерами она также включала развитие торговли, промышленности, учреждение городского самоуправления, освобождение крестьян с наделением их землей, открытие общеобразовательных и технических школ. Главным автором концепции был князь Голицын.

Таким образом, широкая программа преобразований сложилась на Москве до появления Петра I на исторической сцене. Более того, эта программа предусматривала ряд важных мер демократического характера, что противоречило всей направленности деятельности Петра. Конечно, задача преодоления системоцентристского «генотипа» в любом случае оставалась чрезвычайно сложной, и на ее разрешение ушел бы целый исторический период. И все же вероятность того, что русское общество постепенно переползло бы на рельсы персонцентристского развития, представляется значительной.

Все это могло бы случиться, если бы не Петр, не только присвоивший сложившиеся до него преобразовательные идеи (с исторической точки зрения это не столь уж важно), но и в корне извративший их смысл. То, что реформу довелось осуществлять Петру, оказалось для России величайшим несчастьем.

Петровская псевдореформация

Миф о Петре I как о великом преобразователе, мудром политике, чуть ли не «царе-демократе» и т. п.— один из самых распространенных и устойчивых стереотипов общественного сознания. В него верили и верят «правые» и «левые», «патриоты» и «космополиты», монархисты и большевики. В усыпальнице Петропавловского собора его гробница, во всяком случае намоей памяти, была на особом положении. К ней, единственной, можно было свободно подойти, а на специальной полочке всегда лежали купленные на казенный счет цветы. Подобного официального попечения удостоивались у нас, как известно, лишь строго определенные могилы и памятники. Всюду, где Петр бывал или хотя бы проезжал, культивируются легенды, связывающие с «основоположником» ключевые моменты истории города.

Мне представляется, что вся эта канонизация отражает преемственность не только приемов, но и символов государственной пропаганды, от Николая I до Брежнева эксплуатирующей установку массового сознания на идолизацию «сильной руки». За торжествующим звоном этого системоцентристского оркестра почти не слышен крик отчаяния пушкинского Евгения — личности, преследуемой неумолимым Медным всадником тоталитарного государства.

Люди, не разделявшие восторженно-умилительную оценку Петра, естественно, были заклеены либо как махровые консерваторы старообрядческого толка, либо как антипатриоты, «идейные бироновцы». Однако на самом деле наиболее пронизательными критиками «кумира на бронзовом коне» оказались совсем другие. Послушаем, например, княгиню Е. Дашкову, давшую Петру такую характеристику: «Он был вспыльчив, груб, деспотичен и со всеми обращался как с рабами, обязанными все терпеть; его невежество не позволяло ему видеть, что некоторые реформы, насильственно введенные им, со временем привились бы мирным путем в силу примера и общения с другими нациями. Если бы он не ставил так высоко иностранцев над русскими, он не уничтожил бы бесценный самобытный характер наших предков... Он подорвал основы уложения своего отца и заменил их деспотическими законами; некоторые из них он сам же отменил»⁶.

Любопытна позиция Ключевского: в общих фразах и оценках он не идет вразрез с традицией и как будто поддерживает официозную позицию преклонения, воздавая Петру все пола-

⁶Дашкова Екатерина. Записки 1743—1810. Л., 1985, с. 127.

гающиеся ему «по чину» хвалы и произносятся все обычные эпитеты. Но в конкретном анализе он, по существу, опровергает собственные высокие оценки и рисует образ, не только мало располагающий к преклонению, но вызывающий, скорее, обратные мысли и чувства. Как трагический для России «звездный час автократии» рассматривает петровскую эпоху А. Янов.

В рамках статьи я могу лишь предельно конспективно оценить роль Петра в исторической драме борьбы системоцентристского и персоноцентристского «генотипов». С данных позиций, пожалуй, самое главное — *отношение государя к подданным*. И здесь Петр абсолютно однозначен в своей бесчеловечности. Даже его апологеты, по существу, с этим не спорят. Чужая человеческая жизнь (не говоря уж о таких более тонких вещах, как человеческое достоинство) не имела для него никакой цены. В Петре можно наблюдать, пожалуй, один из наиболее ярких образцов отношения к человеку только как к средству для достижения целей. Масштабы и легкость, с которыми он выстилал человеческими костями каждый шаг своего пути, могут успешно конкурировать с самыми страшными деспотиями в истории человечества. На этом фоне его личная, на грани садизма, патологическая жестокость, в сущности, мелочь.

Гораздо важнее, что Петр поставил террор против своего народа на «современную» организационную основу, далеко превзойдя в этом кустаря Ивана Грозного. Еще в юные годы царя в его игрушечном «модельном» дворе важное место занимал прообраз министерства политической полиции — Преображенский приказ с его розыскной агентурой, следственной канцелярией и пыточным застенком. Придя к власти, Петр сразу сделал из него своего рода «ОГПУ», поставленное над всеми прочими государственными учреждениями. Уезжая в Европу, Петр не случайно поручил «править Москву» не кому-нибудь, а главе приказа Ф. Ромодановскому. Тему прямых аналогий с советской историей вряд ли даже стоит развивать — настолько она очевидна.

Любопытно, что историческую преемственность можно иногда наблюдать не только в сути процессов и даже не только в их формах, но и в мелочах. Я имею в виду домашние, «штатные» увеселения Петрова двора, в которых тяжеловесная принудительная разухабистость и непристойность облекались в шутовские канцелярские формы, прежде всего — «всешутейший и всепьянейший собор» — коллегия пьянства со своим уставом и стилем поведения, которые по духу, характеру и даже конкретным шуткам очень напоминают пирушки «вождей» на сталинской даче в описании С. Аллилуевой.

По мнению Ключевского, главные черты поведения Петра определяли «два вредных политических предрассудка — вера в творческую мощь власти и уверенность в неистощимости народных сил и народного терпения. Он не останавливался ни перед чьим правом, ни перед какой народной жертвой... Он не считался ни с правосознанием народа, ни с народной психологией»⁷. Представляется, однако, что Ключевский несколько преувеличивает конфликт Петра с психологией и правосознанием народа. Ведь *определяющие стереотипы народной психологии* — сознание своего рабства и всеилия власти, ее права на любой произвол — Петр не только не разрушал, но и всячески эксплуатировал в своих начинаниях. По своим определяющим параметрам (по ценностям и целям деятельности) политические представления Петра находились вполне в русле традиционных взглядов московских властителей и русских царей. Поэтому всерьез говорить о «новаторстве» Петра можно лишь в плоскости несколько иных форм и средств, взятых им на вооружение для достижения все тех же самовластных политических целей.

С такой точки зрения Петр действительно кое в чем был новатором. В частности, он первым на Руси понял, какие возможности повышения эффективности управления кроются в *бюрократической организации аппарата*, и энергично пытался провести эту идею в жизнь. Однако в условиях неограниченной автократии и такое, само по себе прогрессивное дело обернулось к народу своей отрицательной стороной. В атмосфере произвола попытка бюрократизации управления привела лишь к его «канцеляризации». Эффективность управления, правда, на первых порах несколько повысилась, но смысл его бюрократической перестройки так и не был усвоен ни чиновничьим, ни обывательским сознанием. В итоге многочисленные и беспорядочные реорганизации аппарата, не решив принципиальной задачи, породили к тому же побочный негативный эффект, ибо «государство, загораживаемое канцелярией, отдалялось от

⁷ Ключевский В. О. Указ. соч., т. 4, с. 356.

народа, как что-то особое, ему чуждое»⁸. В результате заметно ослабли патерналистские элементы в отношениях власти с подданными: поблек образ «царя-батюшки», его заместил облик всесильного «хозяина». Другими словами, произошло укрепление рабских стереотипов сознания.

Новым было также повышение уровня требований к подвластному народу. Теперь от него требовалось не просто беспрекословное подчинение приказам, но еще и активное, инициативное их выполнение. Здесь Петр действительно опередил свое время, ибо у его преемников не хватало ни ума, ни энергии добиваться от подданных, чтобы они вели себя как *инициативные рабы*. Возродилось это требование только в XX в., уже на базе значительно усовершенствованной, поставленной на «индустриальную» основу технологии манипулирования людьми. Рационализируя механизм «выжимания народных соков», «Петр действовал силой власти, а не духа и рассчитывал не на нравственные побуждения людей, а на их инстинкты»⁹. На языке современной социальной психологии это называется манипуляцией на уровне человеческих потребностей низших рангов.

Характерно и окружение Петра. В нем отсутствовали люди, подобные Ртищеву и Голицыну, т. е. деятели, исполненные чувством долга перед отечеством, с определенным уровнем культуры и деловой квалификацией. В то же время в нем была масса своекорыстных дельцов и некомпетентных в делах интриганов, видевших в государевой службе лишь средство для удовлетворения честолюбия и страсти к наживе, а в реформенных делах — удобные дополнительные возможности, чтобы «ловить рыбку в мутной воде». И это не случайно. Приспособиться к «преобразователю», пользоваться его устойчивым расположением, видимо, могли только беспринципные карьеристы и стяжатели. Именно такой тип людей закономерно оказывается у власти в системноцентристских структурах.

То, как Петр губил «человеческий материал» без счета, общеизвестно. Напомню хотя бы, что, по данным переписи 1710 г., за 30 лет убыль тяглого населения составила почти четверть. А ведь это — лишь середина петровского царствования. Таков был размах петровского геноцида против собственного народа.

Теперь о «западничестве» Петра. Согласно официальной легенде, он своими мозолистыми руками самолично «прорубил окно в Европу» и тем самым приобщил нас к цивилизации. Однако известно, что Петр обратился к Западу отнюдь *не за цивилизацией, а лишь за ее технологическими плодами*, прежде всего в области военного дела и кораблестроения. Причем в первую очередь для того, чтобы обернуть острие этих достижений против самого же Запада, с которым он воевал и боролся почти всю свою жизнь. Петр прекрасно понимал, что усвоение русским народом подлинных основ европейской культуры может поставить «предел» державному самовластию, которое было краеугольным камнем его политических идеалов и воззрений. Поэтому сближение с Европой было для него лишь временным неизбежным средством, и само по себе не только не представляло ценности, но и содержало опасности. Так что и в отношении к Западу Петр не отошел от линии, сложившейся при его предшественниках.

Далее, принято считать, что петровские преобразования совершались по какому-то единому, однажды созревшему у царя в голове плану. Однако конкретный анализ действий Петра не дает оснований для такого вывода. Это хорошо видно из множества его беспорядочных шагов в сторону, в сторону, в которых лишь при очень большом желании можно усмотреть внутреннюю логику (кроме, конечно, неуклонного стремления к расширению и укреплению собственной власти). Причем с годами неврастеническая беспорядочность действий правительства не только не уменьшалась, а, пожалуй, возрастала.

Как всякий деспот, Петр панически боялся своего народа. В 1705 г. в Астрахани разгорелся бунт, спровоцированный издевательствами над населением при принудительном введении бритья бород и немецкого платья. Размах и цели бунта с самого начала были крайне ограниченными, не представлявшими для государства никакой опасности. Однако «Великий» так перепугался, что бросил на его подавление войска, специально снятые с западной границы в разгар войны со шведами, а также приказал вывезти из Москвы и закопать казну, хотя какой-либо угрозы Москве не было и в помине. Зато когда бунт был подавлен и дело дошло до расправы, Петр сполна отыгрался за свой испуг. Жесточайшие репрессии обрушились практиче-

⁸ Там же, с. 139.

⁹ Там же, с. 219.

ски на все взрослое население города, захваченного Шереметевым. Вообще машина политической полиции с одинаковым ожесточением боролась и с политическими заговорами, и с бородами. Политическим преступлением считался сам факт неповиновения любому повелению державной власти. Одним из основных механизмов сыска было материальное и моральное поощрение системы всеобщего доноительства.

В налоговой политике Петр стремился лишь к тому, чтобы выколотить из налогоплательщиков максимум возможного, нисколько не беспокоясь при этом о подрыве общей платежеспособности населения, а следовательно, о будущем. Сам же сбор налогов проводился драконовскими способами. Здесь особенно характерен метод, введенный им в последние годы правления, когда функцию выколачивания налогов из населения он возложил на расквартированные по различным губерниям армейские части. Лишенная связей с местными жителями армия действовала подобно завоевателям на чужой территории. «Шесть месяцев в году села и деревни жили в паническом ужасе от вооруженных сборщиков, содержавшихся при этом за счет обывателей, среди взысканий и экзекуций. Не ручаюсь, хуже ли вели себя в завоеванной России татарские баскаки времен Батыя»¹⁰. Собранные столь дикими средствами деньги уходили в бездонные бочки «великих строек», на финансирование чаще всего химерических проектов — «ефипанских шлюзов», о которых все бабы в Елифани заранее знали, что воды в них не будет, но сказать боялись.

Но, может быть, хотя бы частичной компенсацией за все эти зверства и несуразности стали успехи, достигнутые Петром в развитии отечественной индустрии? Во всяком случае, такая точка зрения существует. Ведь он оставил после себя ни много ни мало 233 фабрики и завода. Увы, и здесь деспотические приемы управления извратили суть дела и обрекли его на уродливое развитие по ложному пути. Освоив кое-как европейские технологические знания и идеи, Петр начисто отбросил моральные и психологические основания, легшие в основу промышленной революции на Западе, — дух свободного предпринимательства, охрану прав индивида, неприкосновенность частной собственности. В результате вещь, которая по самой своей сути должна быть основой индивидуальной свободы, превратилась в свою противоположность — обычное бюрократическое мероприятие со всеми слишком хорошо известными последствиями.

Еще одна особенность «первой русской индустриализации», в корне противоречившая западной идеологии промышленного развития, но оказавшаяся вполне в русле отечественных традиций, послужила прообразом для организационных форм «второй индустриализации», проходившей уже в советское время. Речь идет о внеэкономическом принуждении, о широком использовании в промышленности принудительного труда, причем не только труда «приписных» крестьян. Подобно «великим стройкам» сталинских пятилеток, строительство каналов и дорог, фабрик, горнорудных предприятий получает «значение нравственно-исправительных учреждений»¹¹. Целым рядом указов Петр предписывал направлять «виновных» для исправления на различные строительные и промышленные «объекты». И было бы несправедливым отдавать большевикам приоритет в изобретении исправительно-трудовых лагерей. Сия плодотворная идея была опробована и запатентована (очевидно, к удовольствию для «патриотического» сознания) на русской же почве на два с лишним века раньше. Воистину прав Максимилиан Волошин: «Великий Петр был первый большевик».

Единственное, в чем Петр в самом деле преуспел, это военная сфера. Хотя и здесь можно по-разному оценить последствия его судорожных усилий. Но оставим чисто военную сторону дела за скобками и только спросим себя, отвечали ли интересам живших тогда и позже в России людей цели укрепления и расширения империи, при бесславном крушении которой мы сегодня присутствуем.

Моя оценка сводится к тому, что в образе Петра мы имеем дело с ярким типом *псевдоремформатора*, который сумел оседлать складывавшиеся в русском обществе в течение XVII в. тенденции социальной модернизации, уничтожил в них зачатки свободомыслия и поставил их на службу традиционным политическим целям. В отношении самих целей он отличался от своих предшественников лишь имперской широтой замаха, но отнюдь не направленностью. В отношении же средств достижения этих целей он — в отличие от предшественников — сумел

¹⁰ Там же, с. 99.

¹¹ Там же, с. 117.

мобилизовать новые внутренние ресурсы системы, эксплуатируя наряду с прочим общественную потребность в обновлении.

Петровская политика нова лишь по внешним формам, а по сути своей она вполне соответствовала глубинным системоцентристским установкам русского национального сознания. Это и легло в основу жестокого парадокса, в силу которого Петр — законченный деспот и разоритель земли — был канонизирован и превращен в объект почти религиозного поклонения. Для русских было не внове преклоняться перед грубой силой истязавшей их длани и окружать тиранов ореолом. Перешедшая в потребность привычка преклоняться перед сильной властью — вот главный источник возникновения харизматических лидеров на русской почве. Качествами же сильного властителя Петр обладал в избытке. Такими представляются нам истоки исключительной популярности Петра и создания мифов вокруг его фигуры.

С моей точки зрения, Петр — одна из самых зловещих персон в нашей, переполненной вурдалаками у власти, истории. И дело даже не в том, что достигнутые при нем успехи несоизмеримо малы по сравнению с чудовищными затратами народных сил, а избранные средства их достижения порой выглядят патологически жестокими даже по тем временам. Историческая вина Петра видится в том, что он *заглушил ростки подлинного обновления, подменил движение к действительным изменениям на уровне культурного гено типа их видимостью на уровне внешней оболочки*. Тем самым он воспрепятствовал реализации перспективы впадения российской струи в общий европейский поток развития, пробивавший персонцентристское русло.

В социально-этическом плане можно констатировать, что в общих рамках традиционалистской морали произошло перераспределение относительного влияния двух ее разновидностей: сократилась сфера общинной морали и за этот счет расширилась сфера морали имперской. Иными словами, интенсифицировалось разложение патриархальной структуры вертикальных межличностных отношений в обществе, усилился процесс их «оказенивания». Власть отделилась от народа. В социально-психологическом плане изменения шли в том же направлении. Заметно ослабили патерналистские элементы в отношениях власти с подданными.

Таким образом, в результате деятельности Петра традиционные пороки нашего национального характера не только не были искоренены, но и усугубились. Кроме того, появились и новые пороки. В частности, именно оттуда исходят истоки двойной морали, лицемерия. В результате образовались некий нравственный вакуум, моральная вседозволенность. Одним из симптомов этого стало небывалое распространение в петровской Руси разбоя, масштабы которого дошли до того, что парализовывали нормальную жизнь и терроризировали страну.

Итак, и реальная деятельность Петра, и миф о «великом преобразователе» легли новыми, хорошо пригнанными блоками в пирамиду традиционного культурного «гено типа», порядком расшатавшуюся к началу петровского времени. Петр ее отреставрировал и придал ей новый запас прочности. Именно тогда, по-моему, рухнула наша вторая историческая возможность сменить трассу.

Провал екатерининской «революции сверху»

Разрушительное воздействие петровского царствования на общественную мораль имело долговременные негативные последствия. Возможно, отчасти поэтому столь бесславно провалилась и предпринятая через четыре десятилетия после его смерти попытка просвещенной императрицы «указом свыше» изменить русские культурные стереотипы. Екатерина II предприняла ее в начале своего правления. Эта попытка знаменательна еще и тем, что представляет, может быть, самый масштабный для своего века эксперимент по «внедрению» социальной теории (как потом выяснилось, увы, утопической) в практику государственной жизни целого народа. В основе эксперимента лежали прекраснородушные идеи французских философов о естественной предрасположенности природы человека к добру, о всемогуществе разума, который в союзе с просвещением легко должен взять верх над злом в любых его проявлениях. Екатерина же усугубила это заблуждение, вообразив, что Россия в силу ее отсталости, «культурной невосделанности» дает наиболее благоприятную почву для посева семян новых прогрессивных идей. То обстоятельство, что личные мотивы Екатерины были в этом эксперименте не бескорыстными, не имеет для нас особого значения, а об утопичности идей просветителей нам легко рассуждать с позиций опыта людей конца XX века.

Царица решила действовать «по науке». С этой целью она повелела создать Комиссию по выработке нового законодательства — Уложения, предполагающего создание, по сути, некоего подобия Учредительного собрания. А чтобы придать работе Комиссии соответствующее направление, Екатерина составила для нее «Наказ». Над этим документом она самолично работала два года. На три четверти он представлял собой компиляцию из трудов французских «политологов». Главные сквозные идеи этого довольно обширного документа — провозглашение законности основой всего общественного устройства и постановка вопроса об обязанностях власти перед народом, о том, что государство существует для народа, а не наоборот.

Для тогдашнего российского общества все это было абсолютно внове. Первой реакцией был эмоциональный шок. Общество впало в сентиментальную слезливость. Впервые власть заговорила с людьми, испокон века пребывавшими в холопском унижении и несправедливости, как с гражданами, как со свободным, способным самому творить свою жизнь народом. Но когда дело дошло до практического обсуждения «Наказа», умиление уступило место самой вульгарной борьбе за своекорыстные групповые интересы, за расширение привилегий и решение частных вопросов. Депутаты показали себя абсолютно неспособными мыслить категориями общественного блага. Пожалуй, самым ужасным было всеобщее сопротивление отмене крепостного права. Дворянство смотрело на крестьян как на свою добычу, которую следует не упустить, защитить от поползновений других претендентов и максимально использовать в своих интересах. Более того, и другие сословия, даже духовенство, проявили рабовладельческое вождество.

И Екатерина отступилась. Увидев, «с кем дело имеем», она предпочла переключиться на более легкие и безопасные пути стяжания славы «матери Отечества».

На этом фоне шла быстрая поверхностная некритическая европеизация русского общества. Неосмысленное напяливание чужих культурных одежд в отрыве от собственной домашней среды ставило дворянина екатерининского времени в маргинальное положение и дома, и за границей: «... чужой между своими, он старался стать своим между чужими и, разумеется, не стал: на Западе, за границей, в нем видели переодетого татарина, а в России на него смотрели как на случайно родившегося в России француза. Так он стал в положение межеумка, исторической ненужности»

Но все же внуки этих дворян предприняли первую в русской истории попытку борьбы не за групповые, не за кастовые, а за всеобщие интересы. И поэтому можно констатировать, что Екатерина II внесла немалый вклад в подготовку замещения традиционных российских ценностей в сознании мыслящей части общества, в создание почвы для возникновения, спустя полстолетия, уникального социального феномена — российской интеллигенции.

А положительный исторический смысл нашего XVIII столетия, думаю, состоит в расшатывании традиционалистских ориентаций на стабильность и нерассуждающее повиновение как на высшие ценности и тем самым в формировании этико-психологических предпосылок для возможности будущих изменений. В обществе появился ряд заметных фигур, исповедовавших индивидуалистические ценности. Но полноценная социальная база успешных необратимых перемен должна включать еще один фактор — хотя бы начатки *демократической политической практики*. А их тоже не было. И пропуск этого приготовительного класса обучения демократическим нормам жизни горько и неоднократно сказывался в дальнейшем.

* * *

Итак, после векового блуждания в системоцентристских тупиках мы вновь выходим на очередной, продуваемый историческими ветрами перекресток. И от того, какой выбор мы сделаем на этот раз, зависит судьба страны (и, пожалуй, не ее одной) в первом веке третьего тысячелетия христианской эры.

© А. Оболонский, 1992

¹² Ключевский В. О. Указ. соч., т. 5, с. 183.